



Марина Алиева

ПОНЕМНОГУ
ОБО ВСЁМ

Марина Алиева

Понемногу обо всём

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39413208

ISBN 9785449375476

Аннотация

Сборник рассказов различной тематики: от военных баек до монолога римской монеты... от бытовых зарисовок до постапокалиптической картинки мира...

Содержание

Блеск	5
Спасибо!	17
Сказание о подполковнике Егоре Е. В.	25
Второе сказание о подполковнике Егоре Е. В.	39
Jazz	51
Голый король	55
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Понемногу обо всём

Марина Алиева

© Марина Алиева, 2018

ISBN 978-5-4493-7547-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Блеск

Во дворе росло дерево, на нём жила сорока.

Собственное имя у неё, конечно, было, но на сорочьем языке звучало оно так заковыристо сложно, что никаких человеческих букв не хватит, чтобы его написать. Но, поскольку назвать героиню как-то надо, то пусть она будет, скажем... мммм.., ну-у, к примеру... Ванька!

Почему? Да просто, похожа. С какого бока ни посмотри – Ванька Ванькой, хоть и барышня. Вид добродушный и постоянно изумлённый, посидит, посидит на ветке, потом громко на весь двор выстрелит скороговоркой длинную, заковыристую фразу и снова сидит в одну точку смотрит, покачиваясь при этом, словно поёт в ней какой-то мотивчик, которому хочешь не хочешь, а поддашься.

Старая ворона, что жила по соседству, у дома с магазином, говорила, что точно так же покачивался один её знакомый попугай, из третьего окна на пятом этаже со стороны улицы, который, между прочим, звался Ванькой... Может, отсюда и пошло? Впрочем, неважно.

Ваньке-сороке не было никакого дела до какого-то там попугая, а покачивалась она потому, что жилось ей хорошо и весело! Чего, кстати, нельзя было сказать о том, другом Ваньке, ибо, по словам вороны, жил он в клетке и мир мог видеть только в границах своего третьего окна на пятом эта-

же со стороны улицы. Сороке-Ваньке такого счастья было не надо – у неё во владении был целый двор с деревом и четырёхэтажный дом со всеми жильцами!

Да, да, представьте себе! Пусть не самый большой и без магазина внизу, но настоящий старый дом с двумя подъездами, заселённый густо и шумно! И скучно здесь никогда не было.

Без совладельцев, правда, не обошлось, и своей собственностью дом считали ещё и колония воробьёв, и нечистоплотное голубиное семейство, но Ваньку их присутствие не напрягало. Жалко что ли? За воробьиной мелочью, исправно подрастающей к началу каждого лета, было интересно наблюдать, как впрочем, и за взрослыми, особенно когда они вдалбливали молодняку правила жизни их многоптичьего семейства. Голуби же вообще держались особняком и вечно толклись возле мусорных баков, куда Ванька летать брезговала. Охота была ковыряться во всякой дряни, если из второго окна, на первом этаже, что у подъезда с кустом сирени, регулярно выбрасывался отменный корм в виде зёрен пшена, риса, а то и кукурузы! На четвёртом окне второго этажа и на шестом окне от края, на этаже четвёртом, были пристроены чудесные домики-кормушки, где можно было обнаружить булочные крошки, а порой и с изюмом! Семечки, сухарики, кусочки яблок, КОЛБАСЫ! И совсем уж непонятных деликатесов, про которые даже ворона от дома с мага-

зином ничего не могла сказать, потому что у себя там ничего такого не видывала!

У кормушек, правда, нет-нет, а и возникали конфликты. Слов нет, по размеру они больше подходили для воробьёв, и приличной, самостоятельной птице громоздиться на жёрдочку возле того домика было зазорно и не солидно, поэтому Ванька долго летала мимо, высокомерно отворачиваясь. Но однажды показалось, что там что-то блеснуло! Подлетела, цапнула.., оказалось просто капля воды, но зато на такой вкуснятине, что дух захватило!

Ваньку событие потрясло. Она и знать не знала как чудесно кормят эту крикливую мелочь! Прямо в тот же день, после мучительной борьбы с чувством собственного достоинства целенаправленно полетела к кормушке, чтобы ещё раз отыскать ту же вкуснятину и хорошенько распробовать, стараясь не думать при этом о том, что воркуют друг другу на её счёт зловередные голубицы у помойки.

Так с тех пор и летала. Дралась, порой, с представителями воробьиного семейства, но потом договорились полюбовно – воробьи будут в домиках трапезничать единолично, а Ваньке относить, время от времени, деликатесы на её ветку. И всё! И началась не жизнь, а сплошное лето, даже когда зима, потому что имелся у Ваньки под самой крышей закуток настолько тёплый и обустроенный, что в нём даже в лютую стужу не холодно. Сытно, тепло – что ещё нужно? И хранить можно всё, что душа пожелает.

А Ванькина душа желала многого. И, желательно, блестящего.

В её дивном, уютно обустроенном тайничке образовалась целая сокровищница из бутылочных стёклышек, пробок, колпачков от ручек, монеток и даже обычных камешков, у которых хватило ума так развернуться к солнцу, чтобы блеснуть своими вкраплениями и тем привлечь Ванькино внимание. Отдельной кучкой «алмазным фондом» сокровищницы громоздился бижутерный лом, который удавалось подобрать во дворе или возле магазина, пока старая ворона не видела, и Ванька жизнь бы за него отдала, потому что чудесные камешки мерцали даже в темноте её тайничка, наполняя его и волшебством, и мечтой, неоформленной, неясной, но от этого совсем не грустной, а напротив, очень даже приятной. На рассвете ли, на закате, когда хоть человеку, хоть птице что-то начинает волновать душу, забивалась Ванька в свою сокровищницу и, распушив перья, как всякая другая птица, начинала тихо и сладостно вздыхать, совсем по-человечьи.

Так прошли два тёплых и два холодных сезона Ванькиной сорочьей жизни, а в самом начале третьего тёплого случилось с ней ещё одно потрясение, из-за которого, собственно, вся эта история и началась.

Тут надо заметить, что Ванька не только ела и вздыхала в своём «алмазном фонде», были у неё и другие развле-

чения. Одно, понятно, поиск сокровищ, а другое – коты. Не те, дворовые, за которыми глаз да глаз, а домашние ленивые и толстые, что вылезали на подоконники своих окон с первыми теплыми солнечными лучами и плотоядно жмурились на каждую пролетающую птичку. Воробьи и голуби тоже обожали их дразнить, но делали это опасно и примитивно, всего лишь пролетая мимо то в одну сторону, то в другую. Ванька же понять не могла, чего они боятся? В этом деле ведь главное что? Чтобы окно было ЗАКРЫТО! И тогда делай, что хочешь!

Она и делала. Садилась прямо на подоконник перед какой-нибудь наглой усатой мордой и, глядя в изумлённо-оскорблённые кошачьи глаза начинала чистить перья и постукивать клювом, то у себя под ногами, типа бегает там всякие, проснувшиеся после зимы, а то – почему бы и нет – прямо по стеклу, аккуратно в то место, куда уже прилип разрумяненный возмущением кошачий нос!

Ванька особенно любила дразнить жирного котяру с третьего этажа. Этот, не то, что носом – всей тушей по оконному стеклу расползлся! Орал так, что было слышно по эту сторону, и потом, (Ванька это уже со своей ветки наблюдала), долго не мог успокоиться, всё бегал по подоконнику, жалобно мяукал и с яростью дёргал оконную ручку, про которую знал – она убирает ненавистное стекло!

В тот день, когда всё началось, Третьеэтажный кот по-

явился в своём окне с раннего утра. Сначала тщательно мылся, потом что-то деловито вынюхивал по углам, а когда на подоконнике обозначился и прогрелся кособокий солнечный прямоугольник, развалился на нём с полным кошачьим удовольствием.

Тут-то Ванька и подлетела.

Села, по старой доброй традиции нос к носу, развернула крыло, чтобы по пёрышкам на боку клювом пройтись, да так и застыла...

Позади кота, в комнате, лежала на столе штуковина, которую люди в прохладное время надевают на голову, а на штуковине этой сияла, переливалась словно радуга и солнце, вместе взятые, неземной красоты брошь!

У Ваньки в глазах всё потемнело. Ни кота, ни комнаты она больше не видела, и открой сейчас кто-нибудь окно, с места бы не сдвинулась, сожрать бы себя дала, но от чудесного видения глаз бы не оторвала! Радужные искры так и рассыпались во все стороны, затмевая солнечные лучи и вялый блеск застёжки на сумке, что стояла рядом. Сумку Ванька знала, видела у хозяйки Третьеэтажного, но никогда, никогда не замечала она на этой тётеньке ничего, даже отдалённо напоминающего то волшебное видение, которое сейчас лежало на столе и дразнило Ваньку всеми своими гранями!

Внезапно блеск пропал, скрытый чьей-то тенью.

Несчастная Ванька забегала, заметалась вдоль окна не хуже Третьеэтажного, который, видимо, уже давно бесновал-

ся и орал со своей стороны, но волшебную брошь окончательно заслонила собой подошедшая хозяйка. Она схватила на руки извивающегося кота, замахала руками и забарабанила по стеклу, сгоняя Ваньку прочь.

Пришлось улететь.

Но так тяжело и грузно Ванька ещё никогда не летала. Безо всякого интереса посидела на ветке, глядя, скорее по привычке, на барахтающихся в пыли молодых воробьят. А когда по листьям застучали первые дождевые капли, перелетела в свою каморку, где мрачно обвела взглядом собранные сокровища и поняла, что отныне без чудесной броши радостной её жизнь больше не будет.

Прошло несколько дней прежде чем Ванька снова увидела сияющее чудо. Всё это время, почти без перерыва лили дожди, но она упрямо вылетала из каморки и подолгу, неподвижно сидела на подоконнике третьего этажа, обводя грустным круглым глазом комнату за стеклом.

Там мало что изменилось. Точнее, не изменилось ничего, вот только штуковины с брошью не было. Вместо неё на столе дремал Третьеэтажный, которого сырость за окном на подоконник не приманивала.

Ванька вздыхала, улетала к себе, но, поскольку умиротворения в душе больше не было, снова и снова возвращалась к равнодушному окну.

Наконец, дожди закончились. Повеселевший двор про-

сыхал под выглянувшим солнцем, и к середине дня закипела обычная многоголосая жизнь со снующими туда-сюда людьми, беззаконными, дымящимися испариной котами, собаками на поводках, жадно тянущими носами ещё не пыльный воздух и голубиным семейством у помойки. Не было только Ваньки на дереве, и не надо, видимо, объяснять, где она теперь сидела...

И вдруг – о чудо! Из подъезда под тем самым окном вышла хозяйка Третьеэтажного в той самой штучковине, и брошь на ней переливалась, кажется, ещё ярче! У Ваньки даже секунды на размышления не ушло. Не обращая внимания на, так забавно для былых дней, распластавшегося по окну кота, она спикировала вниз и попыталась ухватить ключом сияющее великолепие! Вроде зацепила, потянула, но кошачья хозяйка вдруг присела, оглушительно заорала и, вцепившись одной рукой в штучковину, другой, где была зажата та самая сумка, яростно замолотила по воздуху. Удар, который пришёлся по Ваньке, был не таким уж сильным, но пришёлся по крылу, и она неловко плюхнулась на землю и побежала прочь, переваливаясь, волоча по земле онемевшее крыло и унося с собой боль, не столько телесную, сколько душевную.

Дворовые коты мгновенно наострили уши, но Третьеэтажная хозяйка всё ещё кричала, ругалась и потрясала сумкой вслед убегающей Ваньке, так что приближаться они не стали. А там и крыло отошло. Кое-как позволило взлететь

на дерево, но тут же и сложилось. Больно всё-таки! Везде больно!

Ванька еле дождалась конца этого мутного дня. Если бы не воробьи, притащившие в утешение кусок любимого лакомства, так бы, верно, и сидела на дереве, вздыхая. Однако, не столько еда, сколько соседская душевная забота, притупила слегка Ванькину обиду, и на ночь вздыхать она полетела в свою сокровищницу.

На следующий день брошь снова вышла из подъезда. В первое мгновение Ванька решила не рисковать больше ни собой, ни жизнью, но блеск вожаденной вещицы затмил не только белый свет, но и сознание. Коротко дёрнув крылом и убедившись, что оно больше не болит, выбралась на крышу, вздохнула, оттолкнулась и полетела вниз.

Однако, тётка уже была учёная. Не стала дожидаться, когда Ванька сядет ей на голову и начнёт отрывать брошку от шляпки, а замахала руками и сумкой заранее. Этим она избавила, конечно, Ваньку от ударов, но и попытаться добыть сокровище не дала!

Покружив немного над тёткиной головой, Ванька села на свою ветку, нахохлилась и, проводив взглядом уходящую со двора мечту, громкой трескотнёй высказала всё, что было у неё в тот момент на душе! Третьеэтажный кот смотрел на это из своего окна и, кажется, улыбался, но Ваньке это было безразлично. Выстрелив ещё одной тирадой, которую можно, наверное, было бы перевести, как «Плевать я на тебя

хотела», гордо пролетела мимо и забилась под крышу.

Дня три после этого она предпринимала безуспешные попытки добыть свою мечту, а потом вдруг сдалась. Один только раз подлетела к окну на третьем этаже, когда кота на подоконнике не было и заглянула внутрь, и увидела! Но в комнате была кошачья хозяйка, которая тут же кинулась Ваньку прогонять. А та, прекрасно понимая, что через стекло её не достать, потопталась немного, клацая коготками, в надежде ещё раз глянуть на брошь из-за размашистой хозяйкиной фигуры, но тётка схватилась рукой за ручку на раме и снова пришлось улететь. Только в самый последний миг померещилось, будто толстый Третьеэтажный, запрыгнув на стол, где лежала штукавина со сверкающей брошью, подобрался к ней и вцепился зубами и пухлыми лапами...

Больше Ванька во дворе не появлялась. Сидела у себя нахохлившаяся, ко всему безучастная, вздыхала, и наблюдала, как уходит и возвращается тётка со сверкающим чудом на голове, как вертит задранной вверх головой, высматривая, не атакует ли её Ванька... Но нет, ничего такого. Один только раз несколько молоденьких воробьёв попытались было... Ванька видела, как отчаянно они кружили вокруг тёткиной головы и, если бы могла, наверное, заплакала бы. А может и заплакала, кто знает...

Жизнь больше не казалась сплошным летом.

А потом, в один прекрасный день, тётка вышла из подъезда как-то особенно решительно. Штуковина по-прежнему

была на её голове, но уже без сияющей броши, и Ванька напряглась. Неужели потеряла?! Неужели валяется сейчас её мечта где-то на дороге?... Но не успела она подумать, что надо бы лететь, искать, как в руке у тётки что-то блеснуло.

Неужели?!

Дошагав до Ванькиного дерева кошачья хозяйка задрала голову, высматривая что-то в листве. Потом подняла руку и потрясла ей, рассыпая по двору алмазные отблески вожденной броши.

– На, забирай! И отстань от меня уже!

Слов Ванька, конечно, не поняла, но от чувств, нахлынувших при виде этого неземного блеска, застрекотала и высунулась.

Тётка тут же обернулась на звук.

– А, вон ты где...

Нагнулась и положила брошь на землю под деревом.

Дворовые коты, решив, что им вынесли что-то вкусное, тут же кинулись туда, но тётка их отогнала. Да и сама отошла в сторону.

Не веря происходящему, Ванька всё же выбралась из соколовищницы и замерла, не отрывая глаз от броши.

Все звуки во дворе стихли. Или она просто перестала их слышать? Коты догадались, что вкусного под деревом нет, разошлись, а Ванька всё не решалась. Она смотрела на тётку, тётка на неё, и что-то было между ними. Что-то общее...

Наконец, залежавшиеся крылья, словно сами собой, раз-

вернулись. Ванька неловко, как будто только училась летать, спустилась на землю в некотором отдалении от мечты. Прыгнула раз, другой. Немного постояла, наклонив голову на бок, потом торжественно и твёрдо подошла, подняла клювом брошь и, взлетев с ней на свою ветку, замерла.

Мир заполнили тишина и сияние. Несколько мгновений существовали только они, а потом постепенно начали возвращаться звуки, восторженное верещание воробьиного клана, одобрительное гурканье голубей и особенный шелест листвы, который бывает только летом!

Кот в окне третьего этажа улыбался.

Ванька сидела на ветке торжественная и благодарная. От клюва, в котором была зажата мечта, до кончика её длинного хвоста растекалось умиротворение.

Больше она Третьеэтажного не дразнила. Только один раз, когда окно было раскрыто настежь, подлетела и, пользуясь тем, что никто на подоконнике не спал, тихо села и подложила лакомство из кормушки с четвёртого этажа.

Кто знает, вдруг понравится...

Спасибо!

Виктор Николаевич Лобов с трудом дошаркал до пустой скамейки в конце парковой дорожки и присел, с облегчением пристроив свою палку рядом. Хотелось отдохнуть.

От Дома офицеров, где чествовали ветеранов, до дома, в котором он жил, в обычные дни дойти не сложно – и людей меньше, и шума такого нет, и ходит он обычно со свежими силами, а не после долгого сидения на собрании, потом на концерте, а потом и на «фронтовых посиделках», которые в День Победы устроил городской Совет ветеранов... Устал... Хорошо, что по дороге есть вот этот сквер с лавочками... Раньше на них внимания не обращал, а с недавнего времени стал разделять на любимые и на не очень. На эти последние садится, когда другие заняты, но сидит не долго. И вид на них не тот, и не уютно как-то. Зато на любимых можно задержаться. И вот эта, к которой сейчас так тяжело добирался, как раз, одна из них. Хорошо, что пустая – дело к вечеру, народ, кто по домам, кто на набережной уже...

Виктор Николаевич вытянул ногу, привычным жестом растёр колено и, ссутулившись, замер.

Вот сейчас для него праздник, наверное, и начался. Сейчас вспомнит. Переживёт ещё раз и самое плохое, и самое хорошее... Жена-покойница говорила: «Зачем плохое вспоминать?» А как без него? Если убитых не вспоминать, они

так убитыми и останутся. И вспоминает он в себе, бережно, никого не тревожа...

Все эти обязательные торжества, слова, речи – всё это давно уже не трогало. Ещё пока живы были однополчане, с которыми здесь и послевоенную службу проходил, весело было ходить, сидеть, слушать. Гордость брала – те, кто рядом помнят тебя молодым, геройским. И ты их видишь теми же, brave. . . Потом их меньше стало. Потом, ещё меньше. А сегодня вдруг оказалось, что пришёл он один... И весь день так и чувствовал – ОДИН. Даже здесь, в сквере, на спешащих мимо людей смотрел, как сквозь пелену какую-то. Будто и сам уже не здесь... Точнее, не с ними. А ведь странно – всегда день Победы любил, всегда ждал, готовился. Год назад с Ванькой-то... Э-эх! Что и говорить, и собрание это торжественное отсидели, как огурцы, и на посиделках по рюмочке себе позволили... Ванька-то зимой ушёл... Сын его позвонил, позвал на похороны, сказал, что отец сразу как-то.., не мучился. И Виктор Николаевич решил не плакать. Зачем? Самому скоро тоже. Вон уже сидит и словно не здесь, с живыми, а где-то в другом измерении, до которого ему, как выяснилось, Судьба самый длинный путь и намерила...

Палка медленно, будто тоже притомилась, поползла по краю лавочки и упала. Виктор Николаевич вздохнул... Из пелены его окружающей торопливо вынырнула какая-то женщина, подняла палку, приставила на место.

– С праздником!

Виктор Николаевич поклонился вместо «спасибо». На площади скоро концерт какой-то немыслимый, модная певица из столицы – все туда спешат, места занять, потолкаться, потом салют посмотреть. А ему... Как странно, неужели уже ничего не надо? Да нет... Ему бы друга, хоть одного, и тоже, может быть, пошли бы! А может и нет... Уж салют они видели лучший из всех – тот самый, первый. И концерты слушали такие, о каких сейчас по телевизору рассказывают. Вон, сегодня утром артист какой-то про Мордасову... Дескать, отец ему говорил. А Он, Виктор Николаевич – тогда совсем-совсем Витька – эту самую Мордасову лично в распоряжение части проводил, а потом в первом ряду смотрел на неё, слушал, на месте усидеть не мог! Про войну эту проклятую забыл... И весна тогда была. Хотя и не победная. С Ванькой они в прошлом году как раз вспоминали. Не про Мордасову, а про роту свою, как весной в разведку ходили. Перемажешься в грязи – ни черта тебя не видно... Э-эх! С кем теперь вспоминать? Этак и склероз скоро заработаешь совсем. Утром сегодня встал, подумал: «Ваньке надо позвонить...», а Ваньки-то и нету. Хотя, чего там, до сих пор кажется – только номер набрать, и ответит он! Как всегда, трубку снимет и сурово так: «Слушаю!» А вот и не слушает уже... И никак у Виктора Николаевича праздник не начнётся. Без того, чтобы вспомнить, чтобы снова пережить... Нет, никак!

«Пойду домой», – решил Виктор Николаевич. Потянулся

за палкой, и тут увидел их. Мальчишки! Лет пятнадцать, четырнадцать... Как раз такие, каких из своего подъезда всегда гонял, чтобы не курили и не гадили. Он таких хорошо знал! Читал про таких в газетах. С Ванькой, опять же, обсуждали... Разболтанные, ничего святого. Пару лет назад такие же заслуженного ветерана убили за ордена, а потом их продали и наркотики себе купили... Да и эти что-то подозрительно на Виктора Николаевича посматривают. Шушукуются чего-то, по сторонам зыркают... Да, надо идти, пока светло на улице, да проследить, чтобы следом не пошли...

Виктор Николаевич как раз нашаривал рукой палку, не отрывая глаз от подозрительных подростков, когда один из них куда-то быстро побежал, но предварительно что-то просигналил остальным. И, хотя зрение и слух уже не те, всё равно Виктор Николаевич по губам его понял, что парень сказал остальным: «Задержите его».

Рука предательски дрогнула, и палка снова упала.

Мальчишки разом повернулись, и всей стаей пошли к лавочке. Пять человек. Шестой убежал. Впереди, видимо, самый авторитетный... Виктор Николаевич хотел поднять палку, но парень опередил. Быстро нагнулся, сам поднял, взвесил в руке, как знаток, но к лавочке обратно приставил.

– Спасибо, – напряженно сказал Виктор Николаевич.

Взгляд подростка остановился на медалях на груди.

– Дедуль, а за что у тебя награды? – спросил он, кивая на военный китель, как показалось Виктору Николаевичу,

с обидным пренебрежением.

– За войну, – буркнул тот.

– И ордена есть?

Рука Виктора Николаевича сжала в одном кулаке и поднятую палку, и подвядшую гвоздичку, которую вручили на торжественном собрании в доме офицеров.

– Есть у меня и ордена, и медали. И боевые, и мирные. И все я их честно заслужил!

Голос дрогнул и самому себе показался стариковским, сварливым. Он таким же пацанов из подъезда гонял... Попытался хотя бы встать с достоинством, но колено проклятое, с засевшим под ним осколком, совсем подвели. Вставал с кряхтением, опять, как старик немощный, и гвоздику уронил, когда навалился на палку...

Парень неловко и, будто бы с опаской, подхватил под другую руку.

– А вы нам расскажете?

– Чего? – сердясь уже на себя за своё бессилие, спросил Виктор Николаевич.

– Ну..., как воевали там. Про награды...

– Вы фашистов живьём видели? – встрял другой.

– А стреляли в кого-нибудь?

– А до Берлина дошли?

Виктор Николаевич нахмурился. «Стреляли...» Почему-то именно этот вопрос добавил обиды. Как жили уже никого не волнует! Думают, война, как боевик их любимый –

стрельнул, убил, не глядя, и дальше поскакал, будто и не случилось ничего, и человек только что не умер. А побеждает всё равно, не тот, кто убивает, а кто себя убить не даёт!

– Видел я, – буркнул он. – И фашистов, и Берлин, и кладбище немецкое в этом самом сквере. Вот, прям тут...

Он ткнул палкой вдоль дорожки и осёкся. К ним бегом возвращался тот, шестой, который просил Виктора Николаевича задержать. К груди он прижимал целую охапку цветов.

– С праздником, дедуль!

Парень осторожно сгрузил букет на свободную руку Виктора Николаевича, но цветы посыпались на землю – рука вдруг задрожала так, что не унять. Мальчики кинулись их поднимать, а Виктор Николаевич снова опустился на скамейку. Глаза щипало... А ведь он думал, что разучился плакать. Да и сейчас не плакал... Просто трудно было выпустить из себя то, что копилось годами, когда считал, что несправедливо забыт, что никому его прежняя жизнь не нужна, кроме таких же, как он друзей-приятелей, а награды его только наркоманам-мародёрам и ценны. И, особенно, то, что душило в последние дни – снова фашисты, снова убивают..., вся история наизнанку выворачивается, и надо вставать против зла, которое снова попёрло. А будет ли кому?...

– Так расскажете нам что-нибудь? – снова спросил первый мальчик. – А то по телеку вчера такую фигню гнали про фашистов... И мы, это, решили, что сами разберёмся. Весь день сегодня ходим, ветеранов расспрашиваем...

Он протянул Виктору Николаевичу собранные цветы, а тот вдруг, непонятно почему, засмеялся.

— А что ж, в школе вам... или мамка с папкой?

— Так они не воевали, — пожал плечами мальчик. — Мы хотим из первых рук. У нас и диктофон есть...

Ноющая с середины дня спина внезапно прошла, и Виктор Николаевич выпрямился. Аккуратно положил подаренный букет рядом на лавочку, провёл рукой по наградам на груди...

— Вот, смотрите, внуки, эта медаль за Москву. Я тогда постарше вас был, но не на много. Добровольцем пошёл... Повезло, что взяли...

На площади давно уже шёл концерт, но мальчишки никуда не спешили. Они слушали внимательно, как будто от этого рассказа в их жизнях что-то зависело.

«А ведь по виду-то и не подумаешь, — думал сквозь слова Виктор Николаевич. — Я же вчера точно таких же из подъезда погнал... А зачем? Ну, курили, да.., так ведь и я сам в их годы, на фронте... Может, не все они хорошие, но не все и плохие. Разобраться хотят... У них теперь свой фронт, на котором врага не сразу и определишь... Э-эх!»

Виктор Николаевич провёл пальцем по очередной медали.

— А это за Берлин...

И про себя подумал: «Надо Ваньке позвонить. Расска-

затъ...»

Сказание о подполковнике Егоре Е. В.

Евгений Васильевич Егоря выбился в подполковники из прапорщиков и службу свою нёс рьяно, почитая Устав, как вторую Библию. Всё у него складывалось, вроде бы, хорошо, но существовала одна беда – Евгений Васильевич ничего не умел делать. Вернее, он-то сам думал, что может всё, но за что бы ни брался, выходило это коряво, глупо или не выходило совсем. И карьеру свою Егоря строил на героическом и ударном устранении собственных же огрехов. Пожалуй, это было единственное, что хоть как-то получалось, но, опять же, не у него, а у тех людей, которых удавалось признать виновными.

В части, где служил Егоря, невозможно было найти, не то что двух, а даже и одного человека, который бы сказал о Егоре доброе слово. Однако, Евгений Васильевич, пребывая в счастливом неведении, каждое утро озабоченно и суетливо проносил себя через КПП и, обязательно засветившись в штабе, (желательно, в момент приезда командира), нёсся, как на пожар, к офицерскому Клубу, коим он заправлял. Причём, и озабоченный вид, и спешка к месту работы были давным-давно приняты Егорей на вооружение, как нагляд-

ное доказательство того, что без его личного участия «здесь ничего бы не стояло».

Подчиненные Егору тихо ненавидели. И начинали ненавидеть прямо с утра, с совещания, которое почему-то именовалось «брифингом». Впрочем, удивлялись этому слову только те, кто не знал пагубного пристрастия Егории ко всяким красивым словам. Стоило Евгению Васильевичу услышать нечто, выходящее за пределы его понимания, как он немедленно вооружался этим до зубов и вставлял везде, где считал нужным, не заботясь особенно о правильности произношения. И весь этот свой «великий и могучий», которым он владел, как обезьяна нунчаками, обрушивал по утрам на головы несчастных подчиненных.

Информационная насыщенность его выступлений была под стать языковому оформлению. Особо любил Евгений Васильевич сообщать о перестановках в руководстве и о введении каких-нибудь чрезвычайных положений, мало кого из слушателей касающихся, но зато «озвученных пока только на самом, самом верху». При этом говорил Егоря очень тихо, значительно, глядя в пол, и так, словно сам ко всему был причастен.

Слушали его в пол-уха, ожидая, когда начальническое самлюбие насытится до отказа, и будут, наконец, поставлены задачи на день. С этим Егоря, слава богу, справлялся быстро. Прапорщик и контрактник, лучше всех управлявшийся с компьютером и сами всегда знали, что им делать, при-

командированному контрактнику обычно давалось поручение вроде того, чтобы «разработать алгоритм уборки туалета», или вкрутить лампочку, почтальону – положить Егоре деньги на телефонный счёт, а художнику – «порезать ватман на полуватман». Киномеханик, методист и склочная старуха библиотекарша оставались, как правило, «за бортом». Последняя – потому что приходила на работу к одиннадцати и на «брифинг» не попадала, а на остальных-прочих у Егори не хватало фантазии.

Зато своего зама – майора Перебабина – Евгений Васильевич отягощал всем, чем только мог, включая сюда и свои собственные обязанности. Перебабин тоже ничего делать не умел, но на него так удобно «переводились стрелки», что Егоря, щедрой дланью, отписывал заму все более-менее ответственное. Потом, конечно, сурово контролировал, а когда дело окончательно заваливалось, просил помощи со стороны, ссылаясь на свою тотальную занятость, и особо упирая на нерадивость майора Перебабина. Помощь давали неохотно или не давали вообще, и тогда в клубе начинался аврал – то есть то, что Егоря любил больше всего на свете.

Если кто не знает, аврал в армии – это нервная бестолковая суета, которая начинается за считанные дни до срока, отведённого под ответственное мероприятие, о котором все знали уже давно, но думали «а вдруг пронесёт». Или, говоря иначе, это плохое и наспех делание того, что можно было хорошо и качественно сделать загодя.

Егоря неторопливой работы не понимал. За ней совершенно не видна руководящая фигура. Зато при аврале... О! Аврал открывает миллион возможностей себя показать! Можно, например, бегать по штабу с выпученными глазами и каждому встречному, который порывался бы что-то спросить, простанывать хватаясь за сердце: «Давай не сейчас. Ни минуты свободной...». А потом, набегавшись и засветившись перед кем-нибудь из командования, можно было заскочить в тихий кабинет к методисту, или в библиотеку, задыхаясь потребовать кофе и пить его два часа, жалуясь на аврал и нехватку времени. Можно вносить на утренних совещаниях отдела по воспитательной работе с личным составом – кучу бредовых или трудоёмких предложений, которые, из-за нехватки времени все равно не примут, но про себя отметят, что человек душой болеет. А еще можно... Впрочем, Егоре с успехом хватало и того, что уже перечислено. Главное во всём этом не прошляпить момент, когда кто-то из подчиненных действительно сделает что-то стоящее, качественное и к сроку. Но тут Егоря, за годы карьерного роста, поднатормил изрядно – всегда успевал первым перехватить, доложить и получить поощрение. По расторопности и ловкости – настоящий морской котик, но не армейский, а цирковой.

И всё у Егори шло хорошо изо дня в день, как вдруг, словно снег на голову, свалился неожиданно день Победы!

Нет, конечно же, Евгений Васильевич в календарь загля-

дывал и про 9 Мая знал. Но, когда на совещании у начальника отдела поинтересовались, как обстоят дела с концертом и, где, в конце концов, его сценарий, Егоря оторопел, привычно начал: «Так его это... Его же майор Перебабин готовит...», и осёкся. Вспомнил, как месяц назад вопрос о концерте уже поднимался, задача была поставлена, и поставлена лично ему, Егоре, а он, как всегда, перепоручил Перебабину. Тот, гад, кивнул, палец о палец не ударил и, через неделю, откомандировался на курсы повышения какой-то там квалификации. А Егоря-то доверился, успокоился, забыл...

Бедный Евгений Васильевич побелел. У него отнялось всё, что могло отняться, а самое ужасное – зашаталась, как молочный зуб, сама должность начальника клуба! Уж и так на последней присяге командир был очень недоволен бесконечными сбоями в аппаратуре и, не слушая про нерадивого Перебабина, который и то не так, и это не этак, пригрозил, если в будущем что-нибудь у них опять не срастётся... Короче, не приведи, Господи, проколоться с концертом!

Егоря зажмурился, представил возможные последствия и рванул из штаба к клубу резвее, чем прежде.

Первым делом собрал личный состав. Собрал, посмотрел и ужаснулся – прапорщик, два контрактника, художник, библиотekarша и... всё! Перебабин на курсах, киномеханик на больничном, методист и почтальон – в отпуске. Кому писать сценарий и готовить концерт – неизвестно!

От огорчения Егоря на всех наорал и всем всё припомнил.

Прапорщику мат и слишком вольное обращение с ним, непосредственным начальником; контрактникам – вечное спянье в подвале, где им «не для того и... вообще!»; библиотекарше её постоянные опоздания, а художнику – отсутствие в части наглядной агитации и недорезанный полувазман. На что прапорщик матерно выругался, злобная старуха библиотекарша разразилась затяжной, громогласной тирадой, да так, что притихли курсанты в спортзале на другом конце клуба. А когда, ближе к обеду, она, наконец, успокоилась, оба контрактника и художник лениво поинтересовались: «Товарищ подполковник, а чё нам делать? Вы задачу-то не поставили...».

Момент они, конечно, выбрали подходящий: обессиленный в скандале с библиотекаршей Егоря, уже мало на что был способен и только отмахнулся, велел всем идти на рабочие места... Подчинённые резво разбежались, а Евгений Васильевич обреченно сел за стол.

Сценарий предстояло сочинять САМОМУ!

С какого конца за это браться Егоря понятия не имел, поэтому, первым делом, достал из шкафа палочку-выручалочку всех армейских времен и народов – Устав.

Коричневая обложка высокомерно сверкнула золотым тиснением, вызвав у несчастного подполковника приступ священного трепета. Евгений Васильевич благоговейно до-

листал до нужного места и погрузился в чтение. Пару часов спустя, изрядно вдохновлённый, он, наконец, приступил к творчеству, потратив еще полчаса на то, чтобы открыть нужное «окно» в компьютере.

Печатал Егоря плохо – по букве в минуту, не считая размышлений и поисков нужной. Поэтому, к концу рабочего дня, на мониторе сиротливо светилась только одна запись: «Сценарий концерта, посвященного празднованию дня Победы». На большее фантазии не хватало, а сценарий требовался начальнику отдела уже завтра, поэтому Евгений Васильевич принял волевое решение домой сегодня не ходить, и дописать проклятый сценарий, чего бы это ни стоило.

Но, как известно, благими намерениями выстлан путь в одно конкретное место, и ад начался для подполковника прямо с семи часов вечера. Разгневанная жена требовала не столько объяснений, сколько присутствия мужа в доме, а жену Егоря боялся почти так же сильно, как командира. Поэтому, после безуспешных попыток вставить в разговор, кроме робких междометий, хотя бы слово, несчастный Евгений Васильевич пообещал, что «скоро будет», в мгновение ока поставил родимый клуб на сигнализацию, сдал ключи и через десять минут уже сидел дома за обеденным столом.

Надежды на то, что сценарий удастся завершить дома, на поверку оказались весьма призрачными. Сначала компьютер оккупировал сын, которому, кровь из носа, требовалось доиграть по сети в какую-то игру. Потом его сменила

дочь с рефератом, а когда Егоря решил всё же показать, кто в доме хозяин, жена, гневным окриком, отправила его мыть посуду.

Только с наступлением ночи удалось Евгению Васильевичу приступить к исполнению служебных обязанностей. Дочь, крайне раздосадованная тем, что приходится прерывать увлекательную переписку «ВКонтакте», снисходительно начала папе заветный заголовок и удалилась спать. А Егоря, оборудовав стол литровой кружкой кофе, снова погрузился в творчество.

Для начала он аккуратно перепечатал курсивом длинное уставное описание «заноса знамени» в зал, которое все «присутствующие провожают глазами». Потом призадумался. Устав – это, конечно, хорошо, но требовалось нечто совершенно особенное, солидное, что сразу бы показало начальству его, Егорину, компетентность.

Евгений Васильевич поскрёб в затылке и вдруг вспомнил, что в клубе недавно установили новый микшер. А ещё он вспомнил упоительно красивое слово «микшировать», которое часто произносил прапорщик. В сознании Егории всё это почему-то увязывалось со светом, и он, завожившись на стуле, принялся выстукивать: «Свет в зале микшируется»...

Фраза автору понравилась.

Быстренько сварганив для ведущего приветственное слово, вылившееся в «Добрый вечер, товарищи», Евгений Васильевич высунул язык и допечатал: «Ведущий уходит за ку-

лисы. Свет в зале микшируется».

Выглядело солидно. И Евгений Васильевич, повинаясь доброй армейской традиции «безобразно, но однообразно», после выхода каждого исполнителя, равно, как и после его ухода, исправно вставлял про «микширующий» свет.

Выступления командира, зачитывание начальником штаба поздравительных телеграмм и речи ветеранов Егоря, щедрой рукой увязал в плотную вязанку со стихами и песнями, для пущей красоты припечатав везде: «песня инсценируется» и «стихотворение инсценируется».

Тексты он, не напрягая мозга, брал из заветной книжечки майора Перебабина, которую предусмотрительно прихватил из кабинета, и тот факт, что приходится самостоятельно принимать решения, безо всякой возможности согласовать с вышестоящим командованием, необычайно изумил подполковника своей новизной и привел в состояние бесшабашной эйфории. Устав Егоря уже листал, как равного себе и, разгулявшись до безобразия, обогатил сценарий помпезным финалом, где все «участники концерта танцуют вальс под песню „День Победы“»!

Завершилось произведение «относом знамени» и выходом «всех присутствующих в фое», (именно так), где, по замыслу автора, играл духовой оркестр и работал буфет.

Эти два последних пункта Егоря сочинял уже полностью оторвавшись от земли на крыльях вдохновения. В высоких сферах сами собой забылись и выражения, которыми дири-

жер оркестра откомментирует сценарий, и тот факт, что буфет в клубе придется организовывать ему, Егоре, а дело это хлопотное, подотчётное, иначе говоря, прокольное... А прокольных дел Егоря боялся больше, чем командира и жену, вместе взятых.

Но творческие люди все «без царя в голове». И Евгении Васильевич, раздухарившись от незнакомых ощущений, обогащал сценарий всё новыми и новыми красотами. Так, прокрутив произведение на начало, он перечитал вступление и сурово сдвинул брови – первые строки теперь уже показались какими-то робкими и недоделанными. Не хватало увесистого штриха и Егоря, решительно воткнув курсор, где-то между «заносом знамени» и приветствием ведущего, натюкал одним пальцем последнюю фразу, не забыв ввернуть ещё одно раскрасивое выражение, слышанное от методиста: «Зеркало сцены украшено экраном, где проектируется, (именно так), военная кинохроника».

ВСЁ! Миссия выполнена! Эпохальный труд завершён.

Евгений Васильевич расслабленно откинулся на стуле и закурил.

Собственный сценарий казался ему новым словом в культурно-массовой работе. И в табачном дыму уже мерещились и грядущий триумф, и посрамленный Перебабин, и довольный командир. А ещё сам он, подполковник Егоря, твёрдо стоящий посреди зрительного зала на широко расставленных ногах, и управляющий репетиционным процессом! Уж

он покажет им всем! Уж утрёт нос, кому следует... А потом, глядишь, и в Москву вызовут опыт перенимать. Не одному же Перебабину туда методички слать, списанные со старых советских книг...

Егоря даже сплюнул в сердцах, разметаив в ключья сладкие дымные грезы. Перебабин всегда служил подполковнику плацдармом для развешивания самолюбия, потому что никто больше не воспринимал Егорю всерьёз настолько, чтобы с ним соперничать. Но пока майор с высшим образованием уступал Евгению Васильевичу, с его «заушным пэтэушным» только в звании. Теперь же, после такового-то сценария, да ещё написанного собственноручно, пусть попробует плюнуть выше!

Зауважавший себя Евгений Васильевич расправил плечи и гордо прошагал в спальню, где и прикорнул возле похрапывающей жены.

Утром дочь скинула новорожденный опус на флэшку, отдала отцу, и тот, переполненный чувством выполненного долга, отправился на службу.

Через КПП Егоря пронёс себя уже не суетливо, а с величавым спокойствием, как и положено Творцу. На «брифинге» был суров, но милостив, только небрежным жестом кинул флэшку компьютерщику и велел распечатать сценарий, как можно скорее.

– Меня с ним шеф ждёт, – придав лицу озабоченное выражение, пояснил подчиненным Евгений Васильевич. – Вре-

мении совсем мало, а из вас никто работать не хочет. Обнаглели! Начальник дома офицеров сам должен всё делать! Вот влеплю Перебабину выговор – пускай за забором работу поищет!

Пристыдив всех, Егоря совсем успокоился, потеплел душой и, подхватив распечатанные листочки, побежал на совещание к начальнику отдела.

Сегодня он был смел, как никогда, даже надерзил психологу, который никак не мог отчитаться по результатам тестирования. В ответ психолог заявил, что с тестовыми анкетами задержал именно клубный компьютерщик, потому что «у них там никогда ничего во время не делается». Егоря хотел было съёжиться, по старой памяти, и прикрыться светлой памятью майора Перебабина, но тут шеф обратил на него свой начальственный взор и поинтересовался:

– Кстати, как дела с концертом?

В голове Евгения Васильевича зазвонили колокола, затрубили фанфары, и греческие музы приготовили лавровые венки.

Он встал, выпрямился с видом победителя, не удостоил присутствующих ни единым взглядом и выложил на стол готовую распечатку.

Шеф, как ни странно, не поразился, «кто же это так оперативно сделал?» не спросил, а просто взял верхний листок и пробежал глазами начало шедевра. Через минуту на его лице отразилось брезгливое недоумение, а листок полетел

в сторону.

– Ну, Евгений Васильевич..., гений, твою мать! – процедил шеф

Он шумно выдохнул, прибавил еще пару непечатных выражений и велел завтра же отозвать из отпуска методиста.

Офицеры отдела злорадно переглянулись, а оплётанный Егоря, зелёный от пережитого унижения, прямо в штабном коридоре выхватил из кармана мобильный и призвал несчастного методиста на службу в таких выражениях, что тот, от растерянности, не смог даже возразить.

Через два дня полностью переписанный сценарий поступил в разработку, и, очень кстати вернувшийся, майор Перебабин начал репетиции. Точнее, репетировал прапорщик. Прикомандированный контрактник ставил свет, компьютерщик подбирал фонограмму, почтальон с киномехаником – стихи и песни, а художник рисовал праздничный плакат на полуватмане. Курсанты пели сами, как могли, Перебабин же с Егорей без конца ругались, потому что Евгений Васильевич, так и не смилившийся с разрушенной мечтой, то и дело забегал в зрительный зал, пытался руководить, мешался и обвинял майора во всех смертных клубных грехах.

В конечном итоге всё прошло, как обычно – не плохо, не хорошо, а просто состоялось.

Методиста в отпуск больше не отпустили, но пообещали позволить догулять осенью. Прапорщику простили сбой аппаратуры на присяге и не наказали. Перебабин получил оче-

редную грамоту, а Егоря премию. Всех стальных он похвалил на «брифинге».

Второе сказание о подполковнике Егоре Е. В.

Оргштатные мероприятия – беда для любой части, особенно, если к ним прилагаются сокращения, о которых шепчутся по углам с вытаращенными глазами. В этом случае те, кто дослужился до пенсии, или, говоря иначе, самые уязвимые, замирают и начинают бояться.

– Ты слышал? – зловещим тоном осведомилась у Егори его супруга прямо за утренним завтраком. – Говорят, сокращения будут, как никогда! Двадцать процентов! И, вроде бы, только среди офицеров.

Егоря поморщился.

– Меня не коснётся – там и так работать некому.

Но, заглотив кофе и совершенно не ощутив вкуса, всё же осмелился спросить – осторожно и максимально не заинтересовано – откуда у супруги такие сведения?

– Да все говорят. Только ты в твоём клубе ничего не знаешь. Вот увидишь, не сегодня – завтра даже вам объявят официально.

На службу Егоря шёл озадаченным. Его мозг словно разделился на две части. Одна беспечно твердила: «Меня не коснётся», зато другая онемела, как засиженная нога. Глаза сами собой фиксировали «наслеженное» за годы служ-

бы – наглядную агитацию, которую создавали под его чутким руководством, «колокольчики» над плацем, которые вешали под его чутким... Родное штабное крыльцо, эскизы которого, опять же, под его чутким, доводили до совершенства клубный художник и «хакер» – клубный компьютерщик. Разве мог кто-нибудь ещё похвастать такой осязаемой деятельностью?! Да если бы не Егоря, тут бы всё утонуло в дорогостоящих материалах и прочих сложностях. А так – вот оно, пожалуйста – без излишеств, дёшево, (потому что, опять же, он, Егоря, нашёл фирму, где его знакомый за полцены.., и всё такое), пусть плохонько, и простенько, и стандартно, зато, как раз так, как любит командование! И почти всегда к сроку! Нет, нельзя такого работника терять! Нельзя! Кто сумеет так же? Этот, что ли, сопливый капитан из дежурки, который выдал ему ключи от клуба, не отнимая от уха трубки служебного аппарата? Вся часть знает, что у него дядя в генштабе сидит генералом. Тут бояться нечего – даже если его должность сократят, другую специально для него же и введут. Но разве под силу такому добыть пять килограммов краски, не затратив при этом ни рубля, а потом ещё и выдержать целый скандал с клубным художником из-за того, дескать, что верхний слой краски покрыт плесенью, и вообще, ей вагоны красят, но никак не рисуют! Тут не нервы надо иметь – тросы! А ведь нарисовал, не рассыпался. Эмульсионки подбавил, и ничего... Егоря тогда очередную благодарность получил. У него вообще благодарностей этих, как

у дурака фантиков...

Или, скажем, разве сможет заменить его майор Перебабин – этот, как бы зам, вечно мечтающий занять место клубного начальника? Уж тот точно всю работу завалит со своими идеями, выношенными ещё в семидесятые. Когда-то он, возможно, и был новатором, но сейчас весь пыл направил на подсиживание Егори и беготню за бабами – никак не выберется из тех же семидесятых, где сам себя прославил ловеласом – но даже тут новаторством не блещет. Все у него блондинки, у всех ноги от ушей, а на деле стыд один! А Егоря, что? Всякий порой ошибается, особенно тот, кого подсиживают...

Из мутного потока сознания выловилась хорошая фраза о том, что не ошибается тот, кто не работает. Рельефно отпечаталась на лице. И от штаба до места службы дошёл, уже вполне уверенный в себе, подполковник.

Возле клуба Егоря мрачно осмотрел собравшихся подчинённых, скупно поздоровался и, не глядя в неприветливые лица, открыл двери. Велел всем через пять минут быть на «брифинге» у него в кабинете. Потом отжал кнопку сигнализации, под трескотню Перебабина о том, что в маршрутке только что на него «такая пялилась!..» прошепствовал к себе, где, перебивая красочное описание очередной блондинки, состоящей из одних ног, величаво спросил:

– Ты о сокращениях знаешь?

Перебабин загрустил.

– Ну да. Мне жена ещё вчера сказала. А сегодня майор из кадров подвозил и тоже... Говорит, всех пенсионеров погонят.

Егоря взял со стола какую-то бумажку и, не видя текста, прищурился в неё.

– Положим, не всех, – произнёс он тоном скучающего патриция. – Хотя, если предложат уйти, я не откажусь. Надоело что-то за всё отвечать. Меня в столько мест зовут... Самому увольняться нет смысла, но, если что, не пропаду...

– А куда тебя зовут? – вытянул шею Перебабин. – Может и я тоже?..

– Нет, – поморщился Егоря. – Меня же на руководство зовут, там зарплаты ещё туда-сюда, а тебе разве двенадцати тысяч хватит?

– Да ну..., – совсем расстроился Перебабин и зачем-то добавил: – У меня дочь замуж собралась.

Егоря почувствовал себя лучше. Никто и никуда его, конечно же, не звал, и никому другому о своей готовности покинуть кормящую часть он бы нипочём так смело не сказал. Но Перебабин верил в востребованность начальника, хотя и шептал по углам, что всю работу за него делает. «Вот увидите, – восклицал он в кругу многочисленных доброхотов, которые потом передавали всё Егоре, дословно и в лицах, – этот лучше нас всех устроится! Все ходы-выходы знает, везде пролезет... А у самого за плечами только курсы прапорщиков и всё!» Егоре такая вера в него, ясное дело, льстила.

Для вида он посверкивал глазами и негодовал, дескать, кому какое дело, но в глубине души и, положив руку на сердце, готов был признать – будь на месте Перебабина кто-то всего лишь поумнее, не сидеть ему, Егоре, в начальниках никогда!

– Включи-ка мне компьютер, – повелел он вошедшему клубному хакеру.

И пока тот втыкал вилку в розетку и нажимал на кнопку, взял со стола ежедневник, раскрыл его наугад и погрузился в созерцание страницы на всё то время, которое потребовалось для загрузки и открытия «рабочего стола». После этого, несмотря на прибывающих подчинённых, Егоря подсел к монитору, завозил мышкой, включая и выключая за чем-то календарь, и несколько долгих минут делал вид, что жутко занят.

Подчинённые ждали. Ни для кого не было секретом, что именно их начальник сейчас высматривает в компьютере, но это молчаливое выжидание давно стало чем-то вроде утреннего ритуала, по поводу которого сначала негодовали, потом посмеивались, и к которому теперь просто привыкли, как к неизбежному.

– Товарищ подполковник, мы тут, – наконец не выдержал прапорщик.

Он сегодня был не в духе, нужно было ехать заказывать стенды для новой наглядной агитации, потом отлавливать кладовщика, потом списывать драгметаллы, потом чинить розетки на сцене... поэтому на руководящие изыски началь-

ства время тратить не хотелось.

Егоря недовольно буркнул: «Щас», для острастки ещё пару раз щелкнул мышью и, сдвинув брови, повернулся к аудитории:

– В отличие от всех вас я тут не в бирюльки играю.

Потом повозил по столу ежедневником и телефоном, меняя их местами, снял трубку, куда-то позвонил, прослушал около двадцати долгих гудков, после чего бросил трубку со словами: «Никто работать не хочет!» и задумался, глядя в окно.

– Мы тут про сокращения говорили, – рискнул начать брифинг Перебабин.

– Да, – словно очнулся Егоря. – Я, конечно, не собирался пока озвучивать... Мне это по секрету..., из Москвы позволили..., но коснуться может каждого, так что, готовьтесь.

– А чего нам готовиться? – отозвался тридцатилетний прапорщик. – Пусть увольняют. Работать только кто будет?

– А-а-а, тебя-то не тронут, – вяло махнул рукой Перебабин. – Это нам с товарищем подполковником надо затылки чесать... Ты ведь, Евгений Васильевич старше меня, да?

Егоря не ответил. На его лице замешивалась сложная комбинация из величавости, презрения, таинственной информированности и отеческой заботы.

– Вы зря думаете, что коснётся только пенсионеров. Мне оттуда, – короткий взгляд в потолок, – дали понять, что должности будут резать, как..., – он порылся в амбаре памя-

ти, – как сидорову козу!

Кто-то из контрактников прыснул.

– Вот тогда и посмеётся! – повысил голос Егоря. – За забором! Там таких, как вы, с прошлых сокращений, как собак...

Он снова схватил телефонную трубку.

– Не ответят, товарищ подполковник, у всех совещания, – изнывал от нетерпения прапорщик. – Там проверяющий из Москвы приехал...

– Какой проверяющий?! – подскочил Егоря.

– Да х.. его знает. Вроде пожарник... Дежурный сказал, к нам по любому не пойдёт, потому что гостиницу ему не заказывали, значит, вечером уедет.

Не отрываясь от телефона Егоря цыкнул на него, как будто на том конце кто-то ответил, потом бросил трубку и снова задумался.

– Разрешите идти? – спросил прапорщик.

– Я не отпускал!

В привычной обстановке кабинета Егоря стал оптимистом, абсолютно уверовавшим в свою неприкосновенность, и утренняя неуютная тоска его почти оставила. Но на смену ей пришло желание сделать что-то весомое, чтобы доказать..., особенно теперь, когда проверяющий..., и вообще! Сдвинув брови, он обратил грозный взор на художника.

– Эскизы готовы?

Бездельник-художник, как всегда нагло, спросил:

– Какие?

– Для стойки под флаги.

Художник закатил глаза.

Вопрос о треклятой стойке поднимался регулярно, раз месяца в три на протяжении лет этак четырёх. Поначалу художник подошел к проблеме творчески и сделал аж три варианта, к которым присовокупил и четвёртый, больше для хохмы, потому что уж очень он был стрёмный. Но выбрали, как ни странно, именно этот. Ладно, выбрали, так выбрали. Но через какое-то время эскиз затребовали снова, потому что, как объяснили, тот первый потеряли. Художник послушно нарисовал, уже не заморачиваясь творчеством. На третий раз просьбе восстановить утраченное он удивился, на четвёртый и пятый разозлился, над шестым посмеялся, а седьмой воспринял, как должное. Потом сбился со счёта. Старая стойка, облезлая и еле дышащая, так и стояла за кулисами. Её не было смысла даже подкрашивать, но новая всё рисовалась и рисовалась...

– А где те, которые я делал раньше? – спросил художник просто, чтобы заполнить паузу.

Егоря задвигал желваками.

– Это я тебя должен спрашивать – где?!

– Последний я товарищу майору отдал.

Перебабин икнул. Завозил ящиками стола, для вида поискал в ворохе каких-то фотографий.

– У меня нет.

– Чтобы к началу совещания у шефа эскиз был у меня на столе! – пророкотол Егоря.

Художник вздохнул. Пошарил рукой под столом, где в пачках лежала бумага, вытащил чистый лист. Из кармана полевой куртки выловил огрызок карандаша и несколькими штрихами набросал до боли знакомую стойку и проставил размеры, которые ему уже снились.

Егоря потянулся было за листком, но тут уголок его глаза, не столько увидел, сколько почуял неладное за окном. Евгений Васильевич повернул голову и обмер. По дорожке, ведущей от родимого клуба шёл командир с каким-то мужиком московского вида!

И тут Егоря снова раздвоился. Одна его часть, ведавшая, видимо, обычной жизнедеятельностью, бессильно обмякла – заходили, смотрели, его не позвали! Но зато другая, наверное та самая, с которой по предсказаниям Перебабина он везде пролезет, сработала молниеносно! Художник ещё тянулся с листком, а Егоря уже исчез из кабинета, не забыв по пути нацепить фуражку. Все его подчинённые только переглядывались, а он уже скатывался с крыльца и, перемахнув каким-то чудом через обширную клумбу, которую в обычном режиме не осилил бы и до половины, выскочил на дорожку за командиром. Посеменил скоренько ногами, подбирая нужную, потом выровнялся, приложил руку к козырьку и замаршировал по уставному, как положено, за три шага до цели. Прогуливающийся в благости командир удивлённо

обернулся, а за ним и мужик московского вида.

Перебабин и все подчинённые приникли к окнам кабинета. Судя по спине Егори, рапортовал он отменно!

Что уж там за разговор потом вышел слышно не было, но ясно, что короткий. Командир как-то очень быстро от Егори снова пошёл, мужик московского вида чуть припоздал – явно хотел Егорю получше рассмотреть – но командир его под руку подхватил и скоренько так потащил к штабу.

– Ну, всё..., – сказал Перебабин.

Егорю уволили на пенсию через месяц.

Всё это время он руководил родимым клубом с энтузиазмом, которого не видели в нём даже на заре карьерного роста. В госпиталь для прохождения медкомиссии, как это всем полагалось, Егоря не лёг. Договорился, что будет приезжать, сдавать анализы и обходить врачей, всё же остальное время не вылезал со службы. Идеи по благоустройству и улучшению работы вылетали из него, как мушки дрозофилы, чтобы покружить, покружить и... ну, сами знаете, дрозофилы долго не живут. На каждом брифинге он озвучивал очередной проект, вроде какого-то «электронного реестра для библиотеки, который в виде таблицы и с подробным описанием», или общего пульта управления «зеркалом сцены», который разместится на втором этаже в бывшей киномеханической, куда надо прорубить «витражное окно»... Он даже заставил художника нарисовать мелом на стене размеры это-

го окна, но потом увлёкся созданием музея. И не просто части, а рода войск в целом!

Подчинённые считали дни до заветного срока, хотя Егору в глубинах душ жалели. Даже Перебабин злорадствовал не так, как от него ожидали. Впрочем, скорее всего не от человеколюбия, а по той простой причине, что и ему оставалось недолго. Командование пообещало дать ему «поручить» клубом до вступления в должность нового начальника, а потом... всё, как он сам и сказал.

В свой самый последний день Егоря вышел на плац с другими такими же увольняемыми. Командир наговорил им стандартных фраз о том, какие они были молодцы и как жалко с ними прощаться. Подарил ценные подарки из списка, такого же стандартного, как и фразы. Потом перед пенсионерами строем прошли вчерашние сослуживцы, отдавая честь.

Егоря стоял, смотрел на солнце, бившее ему в глаза, и плакал.

После церемонии, когда расходились, кто-то позвал его: «Пойдём, Евгений Васильевич, выпьем что ли. На работу больше не надо...».

– Да, да, сейчас..., – забормотал Егоря. – Вы идите пока, а я тут.., мне надо...

Он дошёл до клуба, в кабинете положил в шкаф подарок, достал ежедневник и ручку...

Через некоторое время офицеры, собравшиеся на совещании у начальника отдела удивлённо повернулись на звук

открывающейся двери. На пороге стоял Егоря. Застенчиво улыбнувшись, он извинился, сел на свободный стул и раскрыл ежедневник...

Jazz

Наталье Юрьевне Федотовой с благодарностью

Ах, чёрт, опять эта тема!

Пианист, нажимавший на клавиши в соответствии с написанными нотами, напрягся. Закрыв глаза. Он знал и ждал, и готовился, но всё равно, никогда не был готов до конца. Приближался миг Преображения! Ещё немного, ещё полминуты..., изнутри уже рвётся сама страсть, и вот сейчас, когда ударные закончат, он вступит с импровизацией.

Этот переход..., этот восторг он ждёт, как скупой рыцарь, готовый открыть свои сундуки. Сказать, что он любил Тему было равносильно признанию, что он её ненавидит. И то, и то было неверным, потому что любить то, что мучает, нельзя, как нельзя ненавидеть и то, чем живёшь и дышишь в своём подсознании, потому что впиталось, проросло и плодоносит, плодоносит, плодоносит...

А, вот оно! Наступает!

Последний рассыпной перестук барабанов и тарелок. Пауза.

Пианист набрал в грудь побольше воздуха.

Раз, два...

С выдохом его пальцы рывком выскочили из канонических переборов, и забегали, словно выдохнули сами.

Как на свидании, когда обещание уже дано и всё возможно, сначала робко, растянуто, издалека, только любуясь и ещё не трогая ни покровов, ни – упаси Боже! – самой Темы, они любили. И летали уже не по клавишам – по нотам, живущим в этом музыкальном пространстве, смешивая их, как на палитре, на этом чёрно-белом пространстве, готовя фон, на который потом, созданная лёгкими мазками, возляжет совершенная Тема. Эта назойливая любовница, которая всегда вмешивалась, когда жизнь обычная не заполняла его дни новыми впечатлениями. Неизменно приходила и терзала нещадно, снова вызывая желание и страсть и доводя любовь к себе до совершенства... Миллионы вариаций, лёгких, тяжёлых, в завитках и графически-чётких, буквально сочились сквозь поры его кожи, тянули к инструменту, мучили, изводили до тех пор пока не находили выход через пальцы. По клавишам, без нот...

Он упивался этой страстью, разнообразной и безграничной, только наедине с Темой. Играя в бэнде отдавал плоды, с которыми всегда прощался, зная, что никогда больше не сможет такого повторить. Но повторял и повторял, всякий раз по-разному, и всякий раз так, что горько было расставаться, потому что... Ну невозможно такое повторить, потому что!..

Пальцы бегали, кружили. То дразня, заставляя умолять «ну тронь уже!». То почтительно, вокруг, не трогая, не хва-

тая... Можно обнять. Да и то, почти не касаясь.. В этой звуковой вселенной, для возлюбленной Темы должно возникнуть достойное объятие. Интимное, которое никто больше не сумеет... Но даже к нему всё подступал и подступал осторожно.

Пор-р-р-а!

Это ударные... Саксы, как хищная стая, уже изготовились. Сводник контрабас вот-вот раскроет перед ними двери. И нужно успеть дотронуться сквозь звуковые покровы до самого тела – всем известного, всем доступного, растиражированного классическим исполнением и начальным замыслом Творца, но все тонкости и изгибы которого знает только он – обожающий и страдающий пианист, для которого это касание очередная потеря.

Он затаил дыхание и коснулся.

И сквозь обвал аплодисментов услышал радостную воркотню контрабаса, звон тарелок, разбивших тишину их с Темой уединения, и всё! Саксы подхватили её, завертели, сделали своей.

Кончено.

Обмякшие пальцы вернулись в нотное русло.

Он выдохнул, опустошая себя до конца и зная, что завтра эта сладкая мука заполнит его снова...

Жизнь...

Пауза...

Всё будет джаз!

Голый король

Ночь... Окна в доме все тёмные. Спят люди. А у меня депрессия, и ни одной родственной, души, даже для того, чтобы просто посмотреть на неспящее окно и успокоиться – не ты один такой...

Говорят, от депрессии можно вылечиться, если сорок часов не спать. Наверняка, чушь. Но, когда доходишь «до ручки», готов на что угодно. А у меня, как раз, та самая «ручка», за которую дернешь, и всё – пятый десяток! Кризис среднего возраста, самое депрессивное время.

Вопрос: с чего вдруг?

Пятнадцать часов уже не сплю. Вообще-то, я «сова», так что, по идее, страдать особо не должен. Может, ближе к утру начнется, так, для этого, и в рецепте сказано – нужно уйти из дома и ходить. На улице морозец, хорошо! Начну замерзать – попрыгаю. Может, мозги на место встанут.

Вот ведь чёрт, сколько раз смеялся над бабами, когда они заводили своё любимое: «Ах, у меня депрессия!», а теперь сам стал, как баба. Главное дело, с чего? Жил себе, жил, не самый, может быть, успешный человек, но зато не дурак, и талантом бог не обидел. Опять же, бабы любили, пока в депрессию не впадали. Но это у них своё, женское, мне-то с чего?!

А может, с баб всё и пошло? Годами копилось, копилось, а теперь прорвало?

Нет, лет десять назад все они были и девушками, и женщинами, а та, которая теперь «бывшая» – вообще богиней. Я с ней год до свадьбы встречался, все привыкнуть не мог – в дверь позвоню, она откроет – слепну! Внутри всё переворачивалось, такая была красавица.

Шесть лет прожили, ни разу толком не поругались. Я шутил, она смеялась, потом перестала, а потом стала раздражаться на всё, что прежде считала достоинствами.

Когда уходила, сказала: «Надоело играть в поддавки». Странно, мне казалось, все шесть лет это я в них играл...

Детей она не хотела – беременность, дескать, портит фигуру. Я не возражал, отдал ей эту пешку. В конце концов, портить было что, и не я эту античность создавал. Да и какие наши годы? Ещё поумнеем, сменим приоритеты. Мне ведь тоже не сильно хотелось всех этих родительских забот. Творческий зуд одолел. В ту пору каких только планов ни строил, о славе мечтал, что-то там рисовал, писал, пробовал... Картины в голове рождались, как грибы в лесу...

М-да, не надо было жениться.

Как-то в Сочи поехали, гуляли недалеко от набережной и наткнулись на дерево – ствол словно узлами скручен, по бокам наросты, как морщинистые руки, а центральный выпяченный, гладкий. И надо всем этим, вроде бы, уродством, цветущая шапка молодых побегов... Даже Она про-

никлась. «Ах, – говорит, – какая прелесть! Как необычно!». А я стою и думаю – интересно, наверное, в глазах какого-нибудь кипариса это дерево слова доброго не стоит, а мы любимся. Зато, человека, такого же корявого, сочтем, пожалуй, уродом... У неё ещё спросил: «Будь я таким, ты бы меня любила?». А она плечами пожала, «дурной ты», говорит.

Дома потом картину нарисовал: дерево это, почти без изменений, только наросты сделал действительно руками, а в центральный, выпяченный и гладкий, поместил ребенка так, как он лежит в материнской утробе.

Ничего такого в виду не имел. Как понял, так и нарисовал. Но Она расценила иначе. «Намекаешь, – говорит, – хочешь, чтобы я стала похожа на жён твоих приятелей? Не дождёшься»... Вот так вот – я ей о любви в самом высоком смысле, а она всё о своем.

И, как-то стал замечать, что всё у нас разлаживается. У неё свои дела, у меня свои. Даже пустой романчик завёл с одной.., никакой. То ли назло жене, то ли себе хотел что-то доказать – не знаю, так и не понял зачем всё было. А вскоре и совсем развелись. Она сказала, что жизнь со мной не её уровень. Такой вот шах и мат. Что ж, ради бога. Кто первый доиграл, тому и другой уровень... Встретил её не так давно. Расцвела, ничего не скажешь. Но уже не ослеп. Почему-то шубу запомнил из шкурок таких маленьких печальных зверьков...

Во-от так... В монахи после всего этого, конечно, не по-

шёл, и в депрессию, кстати, не впал. Попсиховал какое-то время – как без этого – самоутвердился за счет пары-тройки женщин, которые, на свою беду, восприняли меня всерьёз, а потом заскучал.

Вдруг понял, что влечет меня к одному, определённого женскому типу, к такому, который совершенно не стыкуется со всей остальной жизнью! Я-то мнил себя творцом-тружеником, но любую, способную состоять при мне добропорядочной хозяйкой и матерью моих детей, воспринимал однозначно, как некую деловитую особь с засученными рукавами, которая и «коня на скаку», и «где подешевле», и в музыкальную школу с хозяйственной сумкой! Ничего с собой не мог поделать. В итоге пришлось признать очевидное – женщину, способную стать такой женой, какую мне теоретически хочется, я полюбить не в состоянии. Можно, конечно, себя убедить, уговорить, пойти на компромисс, но ей-то это зачем?!

Вот и живу один, перебиваясь случайными связями.

Первое время, пока новизна еще будоражила, позволял себе роскошь увлечься. А потом... А-а, что говорить! Стали они все бабами. Какую ни возьми – кипарис... Мне даже друзья больше не завидуют. Переросли. У них давно другой уровень. А у меня вот – депрессия.

Теперь мысли всякие дурные в голову полезли, заболело всё... То ли болезни от мыслей, то ли мысли от болезней, поди разберись. В боку где-нибудь кольнёт, и всё – я уже ни

о чем другом думать не могу, кроме как о том, что у меня... Тьфу ты, господи, даже вслух произносить страшно! По врачам не хожу – залечат, вот и ставлю сам себе диагнозы, один хуже другого. Суеверным стал, прямо страсть! На Новый год оказался между двумя Еленами, так, с перепугу, пересел, потому что по Стругацким еще помню – загадать можно что угодно, но сбудется все равно самое заветное. Вот я и подумал, а что если у меня сейчас самое заветное желание сдохнуть и не мучиться...

Нет, это дело требуется перекурить.

По-моему, депрессию следует лечить не бессонницей, а беспробудным сном, и так, чтобы не снилось ничего. Тупо провалиться в покой, забыть на несколько часов про жизнь и про не жизнь, а там, глядишь, и человеческое состояние вернётся...

Пойти, что ли, в аптеку, купить снотворного? Где-то здесь, недалеко, должна быть круглосуточная... А с другой стороны, да ну его к чёрту, снотворное это! Привыкнешь и будешь потом на вечном поводке...

И всё-таки интересно, почему сорок часов не спать? Почему именно сорок, и почему именно не спать? И, если не спать, то что делать? Ведь что-то же нужно делать! Ходить? Ну, понятное дело, ходить, как иначе не заснуть. Но пока ходишь, от мыслей никуда не денешься, и жизнь твоя так горбом на плечах и останется...

Я как-то картину нарисовал: идёт человек, весь согнулся,

на посох опирается, а спину черепашью панцирем покрывает вся его жизнь, с городами, дорогами и пейзажами в туманах воспоминаний. И, сквозь это, проглядывают человеческие лица, покрупнее и помельче... На шее у человека висели песочные часы, в которых ссыпавшийся песок образовывал вечную пирамиду, а в руке была клетка с открытой дверцей. Птицу я сначала поместил внутри клетки, но потом посмотрел и решил, что по композиции, будет лучше её выпустить. Так что, в конечном варианте, птица летит перед человеком, чуть выше его головы...

Полюбовался. Сам себе объяснил, что крылатая душа не субстанция, запертая среди костей, а свободный дух, влекущий на подъём. Порадовался, что такой умный и положил рисунок в папку...

Я их много туда сложил.

Художник из меня не вышел, но всю жизнь, с ослиным упрямством, я что-то рисую. Может, таким образом он из меня и выходит?

Семья хотела, чтобы я продолжил трудовую династию. Папа, дедушка и оба прадеда были военными, а прапрадед по материнской линии, польский шляхтич из рода Целиковских, вообще не мог им не быть. Так что все родовые гены и хромосомы начали строить мой организм по заранее определённом плану, где черными аршинными буквами, как на штабных картах, было начертано: «военнослужащий

человек».

Но пара диверсантов все же затесалась. Бог знает из какого рода занесённые, взяли и предательски вложили в меня лишнее и вредное. Один – способности к рисованию и неис требимое желание ими пользоваться, а другой – фатальное невезение... Хотя, нет, скорее глупость, с которой я всю жизнь безошибочно обходил стороной двери, за которыми ждала Судьба, и взламывал те, которые лично для меня были заперты. Куда там! С детства учили, что жизнь борьба, и лёгких путей мы не ищем! Вот и ломился, как баран, во все ворота, за которыми меня не ждали.

По молодости, правда, и это казалось прикольным. Тогда всё было хорошо. Организм полон энергии, здоровья, надежд... И даже не надежд, а полной уверенности, что вот-вот, ещё чуть-чуть, и покатит, покатит туда, куда надо!

Знать бы ещё, куда надо...

У меня приятель был, так тот, каким-то кренделем, всегда знал, что делать. Чуть где чего случилось, перемены там, катаклизмы какие-нибудь, он мгновенно соображал, в какую щель забиться, или, наоборот, откуда выскочить, чтобы и солнце жарче, и дождь полезнее... Когда-то я его за это презирал. А теперь.., нет уважать особо не начал, просто сопоставил, сравнил, и пришёл к выводу, что и самого себя, такого рубаху-парня, прущего по накатанным колеям, тоже уважать не за что.

Все шло хорошо, пока занимался тем, чего душа проси-

ла. Даже в школу художественную пошёл. А там, что ни выставка – у меня первое место, что ни конкурс – лучшие призы мои... Разбаловался. Решил, что так теперь будет везде и всегда и без особых препирательств двинул дальше, но не туда, куда душа тянула, а туда, куда ткнул военный родительский перст.

Как говорится, есть что вспомнить.

Венцом моей военной карьеры стало высиживание неизвестно какого яйца в штабе отдела по воспитательной работе. До сих пор не пойму, с какого перепуга решил вдруг перебраться из нормального, в общем-то, боевого подразделения в эту гнилую богадельню! Опять, наверное, решил, что «попрёт» в любом случае. К тому же все, в один голос, твердили – на политработе только карьеру и делать...

Как-то раз, слушая начальство, бредящее со сна на утреннем совещании, я посмотрел на всё происходящее со стороны и ужаснулся! Почему-то подумал, что Штирлицу, (если, конечно, у них в Рейхе все было так же), не очень-то и сложно было вредить фашистским гадам. Ничего полезного, а тем более разумного, в деятельности нашего отдела не было, и быть не могло. Люди вокруг меня, годами приходили к рабочему месту, как лоси к лесной кормушке. Приходили и кормились, тупо мыча. Жизнь протекала сквозь пальцы, но они, словно бы, не замечали, и оживлялись только при возможности сменить количество или расположение звезд на погонах. Зато, вздумай кто-нибудь спросить «а зачем вы,

собственно говоря, нужны?», любой мог убедительно и витиевато доказать, как дважды два, нужность и разумность своей личной жизнедеятельности, не предъявляя при этом никаких её продуктов, даже, пардон, самых не тонущих.

Я, как раз в ту пору, картину нарисовал: висят в пустоте песочные часы, а в них человек, намертво всосанный зыбучей массой, которая наполовину просыпалась...

Тоже в папку спрятал.

Я мало рисовал, пока играл в солдатика. По мнению начальства, художественные навыкигодились только для того, чтобы порезать ватман на полуватман, да отобрать на клубную стенгазету снимки «покалорийней». Сначала было смешно, а потом, нет, нет, да и накатывало то самое, неистребимое, от которого выть хотелось.

Уж не знаю, как там у других, а у меня всегда одно и то же – зависнет перед глазами картина, уже сложившаяся и в технике, и в цвете, и всё, больше не отпускает! Это, наверное, как беременность у женщин — пока не родишь, не освободишься...

Чистый лист... Вот абсолютное совершенство! Как я любил, перед началом «освобождения», посидеть и посмотреть на эту белоснежную вселенную. Столько там всего таилось! Целые мгновения какой-то запредельной жизни или просто яркие вспышки впечатлений, одно из которых мне сейчас надо попытаться остановить карандашом.

Однажды, ещё в детстве, придумал себе, что все творче-

ские идеи, гениальные мысли, открытия, мелодии – всё это вызревает где-то на деревьях другого, более высокого, духовного мира, а, созрев, разлетаются по белу свету и оседают в головах и мыслях. Кто-то не замечает, кто-то не понимает, но кто-то, как взрыхленный чернозём, не только принимает и понимает, но и даёт возможность пустить корни, и прорасти... Мама дорогая, как же это мучительно и здорово носить в себе такое зерно! Тебя толкают изнутри всплесками новых и новых идей, и так азартна становится жизнь! Кроме того, ростки иного мира тянут за собой из обыденности, и ты, если ещё и не изгой, то, всё равно, на других уже не похож. И вот тут-то самое время замереть перед чистым листом, чтобы не испугать и не оскорбить торопливостью, мысленно наложить уже готовую, написанную в каких-то высших сферах, картину, и попытаться создать максимально точную копию.

Это, как рано утром, перед сонной рекой. Тихо, возвышенно, покойно. Совершенство! И знаешь, что сначала будет неловко и холодно, но небо ясно, солнце уже взошло, и очень скоро ты уже не плывешь, ты течёшь этой рекой. И уже не стыдно за нарушенный покой, потому что получилось, потому что тебя приняли частицей в это совершенство, и карандаш скользит по листу, как на спиритическом сеансе...

Я никогда ни о чём не сожалел, складывая свои картины в папку. Истинно моим был процесс, а результат, даже самый удачный, как-то сразу отдалялся, и, через пару лет, самому

было странно: неужели это я нарисовал?!

Хуже всего, когда хорошая идея, понятая и выношенная, прогорала во мне, не найдя выхода. Всё заботы, заботы, обыденные тучи на небе, где всё было так ясно. И стыдно уже не за свои тяжеловесные попытки пришить к листу раду-гу, а за то, что даже не пытался.

Сослуживцы слегка презирали меня. Бессмысленное хобби рисовать в папку. Только тот, кто удачлив, может позволить себе быть не таким, как все, а я... Карьеру особенно делать не стремился, плыл по течению, слегка барахтаясь. В большие художники тоже не рвался – хватало ума понять, что не пробуюсь. И вряд ли это было от великой скромности, скорее, от тухлого высокомерия. А тухлого, потому что все прогоревшие идеи опали гнилыми лепестками не куда-то, а в меня же! И ощущение причастности к иным мирам, которое дарили свежие ростки, трансформировалось в пошлое желание самоутвердиться на пустом месте. Дескать, «И я бы смог... Просто времени не было. Просто помешали. Да просто не захотел! Нет, мне просто стало неинтересно...». Вариантов масса. Как говорится, кто не может, ищет средства; кто не хочет – сами знаете... Но так хотелось быть Мастером, так хотелось добиться Совершенства! Ведь я его чувствовал, видел, пытался...

Стоп! Что это?! Шаги за спиной? Кого чёрт носит в такое время? Господи, шёл себе, шел, почти расслабился и, вот, нате... А неприятно-то как! И оглядываться стыдно...

Вроде, быстрее пошёл? Ну да! Или это я припустил? Господи, никогда не думал, что я ещё и трус! Вот сейчас и будет конец всем депрессиям. Прощай, дорогая... В каком же кармане у меня ключи? Чёрт, сигареты... Надо будет остановиться, как будто закуриваю, и пропустить вперед... Ага, вот и ключи! Так, всю связку в кулак, а этот, самый длинный, между средним и безымянным... Зажигалку, на всякий случай, в другую руку. Ну, кто там? Подходи!

Оп-па, а никого и нет! Куда ж он делся? Может, к тому дому свернул? Ну, точно, вон и дверь подъездная хлопнула. А я-то, дурак, обосрался, аж в копчике всё свело. Вот стыдуха! Уже чуть ли не с жизнью попрощался. Хотя, нет..., про жизнь даже не вспомнил. С депрессией прощался... Ничего роднее не нашел.

Что-то как-то глупо стал себя ощущать. Может и она, депрессия моя, струхнула и сбежала? Пожалуй, это дело стоит перекурить. Подожду, успокоюсь. Не хочу, чтобы все кризисы и душевные метания неожиданно вернулись ко мне домой, в тёплую постельку...

Вот так гуляешь себе, философствуешь, а потом бац, шаги за спиной, и вся философия под хвост, который хочется поджать и драпать без оглядки. А самое главное, никто в такой момент ничего хорошего не думает – только про маньяков и убийц... А если бы за тем, другим, тоже кто-нибудь шел? Или я сам, вот так же, за кем-нибудь? Как пить дать, напугал бы. Выходит, тот, кто сзади, тот и пугает. Последний –

самый страшный

А что если, мерилом неудачливости следует считать количество спин перед тобой, или просто их наличие? Смешно. Тогда, по логике, мерило удачливости – топот ног за спиной? Вот, молодец, додумался! Сам только что чуть в штаны не наложил – вот хороша была бы удача...

И всё-таки, что-то в этом есть, если смотреть на вещи шире. Раз за тобой идут, значит, впереди стоящее... Но тогда получается, что все мы живем в какой-то гигантской очереди-толпе. И, как в советские времена, что уж там дают неважно, главное достояться и, чтобы хватило. Но у всех впереди только спины, спины, спины...

Интересно, а что у тех, кто первый? Вряд ли райские кущи. Про первопроходцев всегда говорили – путь их тернист и труден. Выходит, впереди стена, которую они пробивают? А зачем? Открывают новую дорогу толпе, которая тупо мечется, ищет куда двинуть и размазывает по непрошибаемым стенам неудачников?.. Но дальше-то что? Любая дорога должна куда-то приводить. Куда? «Светлое будущее» звучит неубедительно. Не конкретно... С тем, что каждая дорога должна вести к храму, я тоже не очень-то... Храм храму рознь. Если в самом высоком смысле, то туда не толпой, и не в очередь, а каждый к своему. Тогда зачем проламывать стену? Свой храм всегда в себе...

А может, складывать рисунки в папку не так уж и плохо? Тоже путь. И, самое главное, никакой очереди на нем! Вы-

ходит, я молодец? Всю жизнь, сам того не понимая, далеко от дороги мне уготованной не отходил... Откуда же тогда депрессия? По идее, сейчас самое время для душевного спокойствия и полного согласия с собой. Но я, вместо того, чтобы сладко спать, шатаюсь по холодным улицам и лгу сам себе, что мучаюсь не просто так, а ради избавления от смертной тоски.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.